
Марк Бельтрами
Драконам скидок нет
ДРАКОНАМ СКИДОК НЕТ
Ведьмина аптека

Марк Бельтрами

Ведьмина аптека. Драконам скидок нет

«Автор»
2026

Бельтрами М.

Ведьмина аптека. Драконам скидок нет / М. Бельтрами — «Автор», 2026

«Драконам скидок нет. Драконам наценка за наглость». Табличку я прибила к двери аптеки в тот же день, когда управляющий банка Вранских потребовал скидку «по обычаю».Бабушка держала аптеку «Под зелёной ступкой» пятьдесят два года. Теперь она моя, вместе с долгами и бумагой на четыре тысячи восемьсот денаров. Вечером на пороге появился глава банка, дракон Збигнев, и сказал, что через тридцать дней дом станет его, если я не заплачу.Гильдия на стороне банка, горняки кашляют, покупатели боятся драконов. Я варю отвар для копи и торгуюсь с Збигневом за каждую банку мази. Он платит полную цену и требует квитанцию.В бумагах дома нашлась строчка, которой быть не должно. Кто-то из родни Збигнева знает, сколько она стоит.Збигнев считает всё, даже чувства. Он спокоен и точен, но его чешуя на запястье сереет, и он прячет её от всех.Сможет ли ведьма, которая никому не уступает в цене, отстоять дом и поверить дракону, который всё считает?При подготовке книги использовалась нейросеть.

© Бельтрами М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Драконам наценка за наглость 5
Глава 2. Бабушка не брала в долг у ростовщиков 10
Глава 3. Вода в Тихой копи горчит 14
Глава 4. Медь по весу 19
Конец ознакомительного фрагмента. 22

Марк Бельтрами
Ведьмина аптека. Драконам скидок нет

Глава 1. Драконам наценка за наглость

Колокольчик над дверью звякнул так, будто ему тоже не понравился гость. Господин Квятек снял шляпу, аккуратно положил на прилавок список и поправил очки на шнурке, а я вытерла руки о зелёный фартук и сразу поняла, что ничего хорошего этот список мне не сулит: слишком ровным почерком люди пишут только счета и приговоры. Было восемь утра первого октября, за окном моросило с самого рассвета, в лавке пахло зверобоем и мокрой шерстью, и я, Ядвига Ольшанская, ведьма-аптекарь и хозяйка аптеки «Под зелёной ступкой», собиралась спокойно перебрать склянки с ромашкой. Вместо этого ко мне пришли за чужими правилами.

– Доброе утро, госпожа Ольшанская. Дом Вранских просит отпустить настойку от головной боли, мазь для кучера и сорок пакетов ромашки для конторских, – сказал он ровным голосом человека, который сорок лет читает чужие цифры вслух. – По обычаю дому Вранских полагается уважительная скидка в пятую часть.

– Ох, по обычаю? – Я посмотрела на список, потом на его лысину, на которой поблёскивали капли дождя. – А по обычаю банк даёт ведьмам скидку на проценты?

– Гхм… Насколько мне известно, нет.

– Вот и мне так известно! – Я засмеялась, хотя смешно не было. – Значит, будем жить по цене, господин Квятек. Настойка шесть денаров, мазь двенадцать, ромашка по полденара за пакет, и я не вижу ни одной причины, по которой аптека должна доплачивать за то, что у заказчика чешуя на запястье.

Он помолчал, перо за его ухом слегка качнулось, и я заметила, что он собирается с духом, как человек, который не любит говорить неприятное, но обязан. Тадеуш Квятек вообще был человеком обязанностей: он ходил к нам за ромашкой ещё при бабушке, никогда не опаздывал, никогда не повышал голос, и я знала, что он вдовец и что носит в кармане платок с вышитой буквой. Мне было его почти жалко, но жалость в нашем деле не принимают в уплату.

– Я должен напомнить, госпожа Ольшанская, что скидка не закон, это правда, но обычай в Крушвице крепче иного закона, – сказал он, снимая очки и протирая их о рукав. – Ваша бабушка отпускала дому Вранских со скидкой пятьдесят два года. Гильдия считает это порядком. Мне было бы неприятно, если бы гильдия сочла вас нарушительницей порядка, причём в первый же год вашей самостоятельной работы.

– Моя бабушка, господин Квятек, пятьдесят два года отпускала всем что угодно, лишь бы никто не обиделся, а в июне её не стало, и теперь мне нужно кормить аптеку, ученицу и соляного поставщика, который больше не отпускает в долг. – Я перегнулась через прилавок и ткнула пальцем в строчку списка.

– Скидка, господин Квятек, это когда я вас уважаю. А пока у нас с вами только цена, и она, кстати, только что выросла!

Он надел очки обратно, и стёкла блеснули так холодно, что я на секунду пожалела о сказанном. Но только на секунду, потому что пожалеть о таком вслух значило признать, что бабушкины долги мне действительно некому закрыть. А я знала о них всё: шестьсот сорок денаров, соляной поставщик и стекольщик, каждая монета записана в расходной книге её ровным круглым почерком.

– Что ж, я передам, – сказал Квятек и взял свой список так бережно, словно в нём была не ромашка, а чья-то жизнь. – Гильдия, разумеется, будет уведомлена. Я не угрожаю вам, госпожа

Ольшанская, я лишь говорю, что порядок имеет привычку возвращаться с проверкой. Всего доброго.

Колокольчик звякнул ему вслед, а я осталась стоять у прилавка с чувством, будто проглотила целую горсть крупной соли. Дождь стучал по ставням, из лаборатории тянуло тёплым воском от плавящейся основы для мази, и я заметила, что руки у меня дрожат. Не от страха, нет, от злости, которая всегда приходит ко мне не сразу, а когда человек уже ушёл, и вся правильная речь, которую я не успела произнести, собирается комком под рёбрами.

***

Я прошла в лабораторию, выдернула из-под полки доску для сушки трав, схватила уголёк, которым Божена вчера записывала на стене счёт банок, и вывела слова крупно, в два ряда, чтобы видно было от самой мостовой: «Драконам скидок нет. Драконам наценка за наглость». Потом отыскала молоток и четыре гвоздя, которые бабушка берегла для починки ставен, и вышла под дождь.

Табличка встала на дверь с первого раза, ровно, как по линейке. Это была редкая удача, и я даже отступила на шаг, чтобы полюбоваться: мокрый уголь расплылся по краям букв, но читалось всё равно отчётливо, а слово «наглость» вышло самым жирным.

– Госпожа Ядвига, вы что это делаете?! – Божена появилась из-за угла с кульком булок и остановилась, как вкопанная. Рыжие веснушки на её лице побелели, потом заалели, а в глазах уже набухали слёзы, но рот сам собой расплывался в улыбку. – О-о, госпожа Ядвига, это же дому Вранских! Это банк! Они же нас по миру пустят, вы понимаете, а-а, они нас съедят вместе с котлом!

– Дракон человека не ест, Божена, дракон человека считает, – сказала я, стряхивая воду с рукава. – Ты булки несёшь или портишь мне настроение?

– Несу… Ой, и то и другое, наверное, – всхлипнула она и вдруг расхохоталась, прижав кулёк к груди. – Простите. Это ужасно смешно. Это ужасно страшно. Давайте я принесу тряпку, а то уголь потечёт.

– Не потечёт. Я это сейчас закреплю.

Я приложила ладонь к доске и прошептала над ней коротенький заговор на стойкость, из тех, что бабушка использовала для вывесок, когда осенние дожди смывали краску. Слова вышли тёплыми, в горле щёлкнуло, и я поняла, что за такое мелкое колдовство придётся заплатить голосом. Через минуту я уже хрипела, как простуженная ворона.

– Ох, Ядзя, – раздалось из окна соседней лавки. Зофья Мазурек, маленькая, пахнущая воском, с очками на лбу, высунулась по пояс и покачала головой так, что седые завитки заплясали. – Ох, Ядзя, Ядзя. Гражина бы сперва выпила чаю, потом подумала, а уж потом взялась за молоток.

– Тётушка Зофья, при всём уважении, бабушка пятьдесят два года сперва пила чай, а потом думала, и оставила мне долгов на шестьсот сорок денаров, – прохрипела я. – Мне надоело, что в этом городе всем должны все, кроме меня.

– Вот-вот, – вздохнула Зофья, но вздох был такой, будто она вовсе не осуждала. – Только зайди ко мне вечером, пирог остынет. И не рычи на покупателей, а то люди подумают, что ты на них лаешь.

Она скрылась в окне, а Божена, хихикая и всхлипывая, отнесла булки в лабораторию. Я постояла ещё минуту под моросью. Вывеска смотрела на улицу с таким вызовом, что мне самой стало немного не по себе, но отступать было поздно: заговор уже держал уголь, и снять его теперь можно было только вместе с дверью.

***

К полудню лавка заполнилась обычными посетителями, и каждый, входя, первым делом читал табличку. Старик с седьмой улицы, который брал у нас растирку для коленей, шевелил губами на пороге, потом хмыкнул и купил двойную порцию. Две женщины в одинаковых шалях

прочитали надпись, переглянулись и ушли, не взяв даже ромашки, а на улице я услышала их смех, звонкий и тревожный одновременно.

– Две ушли, – шепнула Божена, перетирая банки. – А если дракон придёт?

– Получит ромашку по цене ромашки, и ни денаром меньше, – ответила я, перетягивая горлышко мази бечёвкой.

День шёл своим чередом: я варила, взвешивала, фасовала и вписывала в книгу цифры, а в лаборатории стояла духота от большого медного котла. К пяти голос пропал совсем, и Божена то и дело подносила мне кружку с тёплым молоком и мёдом, заставляя пить с таким видом, будто это она колдует, а я лечусь.

– Вы всегда так хрипите? – спросила она, вешая платок на крюк. Она уходила ровно в шесть, как и положено, и торопливо застёгивала пуговицы на пальто. – Ну, после заговора?

– Всегда. Цена, Божена. Сильный заговор садит голос, мелкий тоже, только на меньше часов. Но зато уголь теперь не смоется до самой зимы.

– А если дракон захочет её снять?

– Пусть попробует, – прошептала я и закрыла за ней дверь на засов, но не до конца, потому что вечерние покупатели тоже случались.

***

Он пришёл, когда уже стемнело, и дождь за окном превратился в сплошную серую завесу. Колокольчик звякнул, и я, стоя спиной к двери, тянулась на цыпочках за банкой с мятой на верхней полке, поэтому не сразу обернулась. Сначала услышала шаги: ровные, неторопливые, твёрдые, так ходят люди, привыкшие, что перед ними открывают двери. Потом услышала тихий щелчок, будто кто-то открыл и закрыл крышку часов.

– Госпожа Ольшанская? Прошу прощения за поздний час. Если вы заняты, я могу подождать.

Я повернулась с банкой в руках. В дверях стоял высокий мужчина в тёмном дорожном плаще, с которого стекала вода, и я первым делом заметила не его лицо, а серебряную прядь у левого виска, такую яркую, будто её выкрасили. Глаза у него были серые, внимательные, и они не скользили по лавке, а обходили её методично, как счётчик обходит конторку. Табличку на двери он наверняка прочёл ещё с улицы, и по его лицу не пробежало ничего, кроме лёгкого движения брови.

– Я Збигнев Вранский, – сказал он, снимая перчатки и аккуратно складывая их вместе. – Вам, очевидно, уже рассказали обо мне. Господин Квятек вернулся в контору в некотором замешательстве, и я счёл, что лучше прийти самому, чем присылать третье лицо по делу, которое касается лично вас.

– Если вы за ромашкой, то цена на ромашку выросла, – прошептала я, ставя банку на прилавок. Голос у меня совсем пропал, и выглядело это, наверное, не так грозно, как мне хотелось. – Если вы за скидкой, то у нас только что закончилась.

– Я не за скидкой, госпожа Ольшанская, и не за ромашкой. – Он положил на прилавок кожаную папку и расстегнул тугой ремешок. – Вы можете меня выслушать? Я постараюсь быть кратким, но боюсь, что короче не получится.

Я скрестила руки на груди, и он, не дождавшись ответа, достал из папки лист плотной бумаги с печатью, повернул его ко мне и придвинул ближе к свету лампы. Это была копия векселя, заверенная нотариусом, с красной лентой по краю. Я прочла первую строку, потом вторую, потом третью, и слова вдруг начали расплываться, как уголь на мокрой доске.

«Я, Гражина Ольшанская, ведьма-аптекарь, обязуюсь уплатить предъявителю четыре тысячи восемьсот денаров к первому дню сентября восемьсот двенадцатого года. В залог отдаю дом на Аптекарской горке, семь». Внизу стояла подпись, очень похожая на бабушкину, с её завитком на последней букве, и дата: четырнадцатое марта.

– Это что? – Я попыталась сказать это громко, но вышел сиплый шёпот.

– Это вексель вашей бабушки, госпожа Ольшанская. – Он говорил медленно и негромко, как говорят в комнате, где лежит больной. – Дом Вранских купил его двадцатого августа у господина Флориана Жмуды, который выдал заём. Срок платежа истёк первого сентября. По закону Вислании держатель обязан известить наследника и дать ему тридцать дней. Извещение вручено вам сегодня утром, и я полагаю, вы его ещё не читали.

Я не читала. Извещение лежало в кармане фартука, смятое, с уголком, залитым чаем, потому что утром у меня были заботы поважнее. Я достала его, развернула и поняла, что тридцать дней отсчитываются от сегодняшнего числа. Тридцать первое октября, день Соляной ярмарки.

– Я не верю, – сказала я, и голос у меня сорвался окончательно. – Моя бабушка не брала в долг у ростовщиков. Она никогда не брала! Она бы не подписала такое, она бы скорее закрыла аптеку и пошла стирать бельё.

– Понимаю, – сказал он, и мне показалось, что он действительно понимал, как мне тяжело. – Я понимаю, госпожа Ольшанская, что для вас этот дом больше, чем стены, но вексель не испытывает чувств, и я, к сожалению, обязан его исполнять. Если бы речь шла о моих собственных деньгах, я бы мог проявить гибкость. Но банк принадлежит дому, а не мне, и я не вправе отказываться от четырёх тысяч восьмисот денаров по личной прихоти.

– Тогда покажите подлинник!

– Подлинник по правилам банка выдаётся только суду или при оплате долга. – Он говорил терпеливо, как объясняют ребёнку таблицу умножения. – Заверенная копия имеет ту же силу, и вы можете показать её любому нотариусу. Я не прячу его от вас, я не имею права его выдать. Если бы я нарушил это правило ради вас, завтра мне пришлось бы нарушить его ради кого-нибудь, кому я не желаю добра.

Я смотрела на копию, на завиток в бабушкиной подписи, на красную ленту, и мне хотелось одновременно закричать и сесть на пол. Вместо этого я взяла с прилавка банку с мятой, поставила её на другую полку и снова на прежнюю, потому что надо было куда-то деть руки.

***

– Позвольте предложить вам выход, – сказал он, когда пауза затянулась так, что в тишине стало слышно, как капает с плаща на половицу. – Дом Вранских готов выкупить этот дом за шесть тысяч денаров. Вексель будет погашен из этой суммы, и вам достанется тысяча двести. Этого хватит, чтобы снять помещение на Ступенной улице и начать заново, без долгов и без залога. Я не прошу ответа сегодня. Я прошу только подумать о цифрах, а не о том, что вы чувствуете.

– Тысяча двести, – повторила я. Говорить было больно, поэтому слова выходили короткими. – За дом, где родилась моя бабушка. За патент, который она получила в шестидесятом году. За полки, которые она сама красила. Вы всерьёз называете это выходом?

– Я называю это самым дешёвым из возможных выходов. – Он щёлкнул крышкой часов, и мне показалось, что звук вышел резче, чем нужно. – Ведь если дом уйдёт с торгов, вы не получите ничего. Я не желаю вам зла, госпожа Ольшанская, но я считаю как умею, а умею я только считать.

– Отлично. Тогда посчитайте вот что. – Я ткнула пальцем в табличку на двери. – Всё, что вы купите в этой лавке с сегодняшнего дня, будет стоить на пятую часть дороже. Мазь, настойка, ромашка, хоть один пакет травы для вашего последнего писаря. Это не месть, это счёт. Вы считаете, я тоже считаю, вот и считайте.

В первый раз за вечер он ответил не сразу. Серые глаза остановились на моём лице, зрачок на мгновение вытянулся в узкую щель и снова стал круглым, и я подумала, что он сейчас рассердится по-настоящему. Но он только аккуратно придвинул копию ко мне, застегнул ремешок на опустевшей папке и натянул перчатки.

– Наценка принята, – сказал он спокойно. – Мне следует лишь уточнить, будут ли выдаваться квитанции, потому что я привык вести учёт всех расходов дома. Если нет, я буду вынужден записывать их по памяти.

– Квитанции будут, – прохрипела я. – С печатью. И с вашим именем в графе «за что».

– Тогда до встречи, госпожа Ольшанская. Я желаю вам, чтобы подлинник оказался таким, каким вы его себе представляете, хотя уверен, что он окажется другим.

Он вышел, и колокольчик звякнул ему вслед тихо, почти вежливо, будто тоже решил не спорить с драконом. Я постояла минуту, слушая, как затихают шаги по мокрой мостовой, потом заперла дверь на засов, погасила лампу и поняла, что стою посреди лавки без единой мысли в голове. Только цифры: четыре тысячи восемьсот, тридцать дней, шесть тысяч, тысяча двести.

***

Наверх я поднялась только после девяти, когда Зофья, не дождавшись меня к пирогу, постучала в стену и ушла спать. Я не пошла в свою спальню. Я остановилась перед дверью бабушкиной комнаты, которая стояла закрытой с июня, и ключ в замке повернулся с таким скрипом, что у меня заныли зубы.

Там всё осталось на своих местах. Узкая кровать с вязаным покрывалом, шкаф с тёмной резной дверцей, секретер у окна и кресло с вытертыми подлокотниками, в котором она любила сидеть по вечерам, считая пульс у собственных пациентов по памяти. На столике ещё лежали её очки, сложенные дужками внутрь, а рядом чашка с засохшим чайным кругом на дне. Я не позволяла Божене убирать здесь, и сама не убирала. В комнате пахло лавандой, воском и чем-то неуловимо бабушкиным, чему у меня нет названия.

Я села в кресло, и подлокотники хрустнули под ладонями. Копия векселя лежала у меня в кармане, потому что он оставил её на прилавке, и я вытащила её, расправила и опять прочитала подпись. Завиток на последней букве был таким, как всегда. Бабушка так расписывалась на рецептах, на квитанциях, на открытках к моим именинам: этот самый завиток, будто лёгкий росчерк пера. Но она никогда не писала «обязуюсь уплатить предъявителю», она писала просто «отдам», и никогда не называла себя «ведьмой-аптекарем» в третьем лице, потому что считала это хвастовством.

Мне было двадцать семь лет, я умела варить отвар от соляного кашля, зашивать рану, выводить пятна и торговаться с поставщиками. Но я никогда не умела жить без неё, и сейчас, в этой пустой комнате, мне вдруг стало так одиноко, что я прижала бумагу к груди и просидела так, пока свеча не оплыла до самого блюдца. Потом вытерла лицо рукавом, потому что сопливых ведьм не берут даже в гильдию, и вслух сказала в тишину, как будто бабушка могла услышать:

– Ты не подписывала, ба. Я знаю, что не подписывала.

В окно стучал дождь. Где-то внизу, в лавке, негромко скрипнула половица, и я долго прислушивалась, но больше ничего не произошло. Бабушка за пятьдесят два года не взяла в долг ни у кого, кроме соляного поставщика, и я собиралась это доказать, даже если придётся перерыть весь дом.

Глава 2. Бабушка не брала в долг у ростовщиков

К рассвету я сидела на полу в бабушкиной комнате, привалившись спиной к кровати, а вокруг меня лежали расходные книги, раскрытые веером, как карты у неудачливого игрока. Их было девятнадцать: толстые, в тёмных холщовых переплётах, с выцветшими корешками, на которых бабушка вывела годы. Я вытащила их из секретера ночью, когда поняла, что всё равно не усну, и теперь у меня затекла спина, ныла шея, а в косе, уложенной венком, торчало гусиное перо, про которое я начисто забыла.

Первая трудность была в том, что бабушка писала мелко и очень экономно, без полей и пропусков, словно бумагу ей отпускали по весу. Вторая трудность была в том, что я не знала, что именно ищу. Расписку? Отметку о займе? Хотя бы запись «получила от Ж.» с чьей-нибудь сумасшедшей суммой? Но каждая страница убеждала меня в обратном: бабушка записывала всё. Покупку ячменного сахара, два медных котелка, ремонт крыши, один денар жертвы на городскую свечу, пять денаров Божене за первую неделю, хотя в то время Божена ещё не появилась, а работала у булочника.

Я перелистывала март восемьсот двенадцатого года и вслух повторяла цифры, потому что так лучше запоминалось. Двенадцатое марта: соль поставщику, шестьдесят денаров. Тринадцатое: масло и воск. Пятнадцатое: стекло для банок. Займа не было ни в одной строке, и я перевернула страницу.

Колокольчик внизу звякнул, потом по лестнице кто-то взбежал, и дверь в комнату распахнулась без стука.

– Госпожа Ядвига! Вы тут? Вы вообще спали? – Божена застыла на пороге, прижимая к груди сумку, и у неё сначала округлились глаза, потом дрогнул подбородок. – О-о, а у вас перо в волосах. Вы что, всю ночь тут?

– Всю, – хрипло сказала я. Голос не вернулся, но хотя бы перестал напоминать скрип ржавых петель. – Перо вытащи, пожалуйста, а то я рискую выйти в нём на улицу. И садись, мне нужен кто-то, кто умеет складывать быстрее меня.

Она вытащила перо с таким благоговением, будто это была чья-то реликвия, села рядом и взялась за книгу без лишних вопросов. Так у нас всегда: Божена болтает, плачет и смеётся одновременно, но считает быстрее, чем я, и ни разу не ошиблась в сумме. К девяти мы разложили на ковре три стопки: поставщики, быт, мелкие долги. Божена шептала цифры себе под нос, загибая пальцы, и повторяла «ага» после каждой строчки.

– Значит, так. Соляной поставщик, четыреста двадцать. Стекольщик, двести двадцать. Больше она никому не должна, госпожа Ядвига. Вот честно, я проверила два раза. Ни одного займа в марте, ни одной записи про четыре тысячи, ни одного даже про сотню! Вы что, правда думаете, что она взяла у кого-то такую сумму и не записала?

– Я думаю, что бабушка записывала даже, сколько ложек чая она кладёт в чайник, – сказала я. – Скажи, Божена, ты когда-нибудь слышала имя Флориан Жмуда?

– Флориан? – Она нахмурилась, сморщив нос, и веснушки на нём собрались в созвездие. – Нет. А кто это?

– Вот и я не знаю. Так написано в векселе, этот человек выдал заём. – Я повернула к ней копию, лежавшую на коленях. – Будто бы в конторе, под залог дома. Но в расходных книгах нет ни Флориана, ни конторы, ни даже слова «заём». Либо бабушка скрыла это от самой себя, либо это не она.

– Ой, – прошептала Божена и тут же зажала рот ладонью. – Ой, простите. Я просто подумала, что если не она, то кто-то подделал, а подделывают только то, что стоит денег, а у нас это дом, а дом, значит, кому-то нужен, а-а, госпожа Ядвига, это же как в романах, которые тётя читает!

– Это не роман, а мои четыре тысячи восемьсот, – сказала я и встала, разминая затёкшую спину. – Пойдём вниз, а то лавка сама не откроется. И позавтракаем заодно, а то я вчера даже Зофьин пирог пропустила.

***

Зофья обиделась бы наверняка, но она пришла сама, ровно в десять, когда мы только поставили котёл. Колокольчик звякнул, и в лавку, как всегда, вплыл сладкий запах воска, а следом показалась и сама тётушка Зофья: маленькая, круглая, с очками на лбу и накрытой полотенцем миской в руках. Она поставила миску на прилавок, посмотрела на табличку на двери, потом на меня, потом на Божену, которая в этот момент тёрла стойку с таким усердием, что чуть не стёрла краску.

– Тётушка Зофья, я знаю, что вы хотите сказать, – начала я, но она подняла ладонь.

– Не знаешь. Я хотела спросить, что ты ела вчера. И я принесла пирог, а не нотации. Яблочный. Съешь с чаем, а то голос не вернётся.

– Спасибо, тётушка. – Я откусила кусок, пока он был горячий, и мне стало так тепло от корицы и яблок, что я чуть не расплакалась прямо над прилавком. – Зофья, можно я спрошу про одного человека? Вы знаете Флориана Жмуду?

Лицо у неё изменилось сразу, как будто я назвала не имя, а скверное слово. Очки сползли с её лба на нос, и она, не поправляя их, медленно стянула с миски полотенце и положила его на прилавок.

– Ростовщик, – сказала она тихо. – Лысый, с перстнями на каждом пальце, будто на ярмарке продаётся. Жил за Соляной площадью, давал деньги под такие проценты, что порядочные люди к нему не ходили. Гражина его на дух не выносила, ох, Ядзя, как не выносила! Однажды он прислал ей корзину с гостинцами, так она отправила корзину обратно со штрафом за беспокойство.

– А она могла взять у него взаймы? В марте, например?

– Гражина? У Флориана? – Зофья покачала головой, и седые завитки заплясали. – Да она скорее бы мне призналась, что ей нечем платить за свечи, а я бы ей за это не взяла ни гроша. Нет, милая. Не брала она у него, и не говори мне, что брала. А почему ты спрашиваешь?

Я рассказала ей про вексель, про копию, про вчерашнего гостя и про тридцать дней. Зофья слушала, поджав губы, и всё время теребила край своей шали, а потом вдруг тихо села на табурет у прилавка, будто у неё подкосились ноги. Божена бросила тряпку и подбежала с водой. Тётушка выпила половину стакана, поставила его, вытерла пальцы о передник и подняла на меня глаза, в которых стояла такая старая усталость, что мне стало страшно.

– Я не верю, – сказала она. – Не верю ни одной букве. Только вот что, Ядзя. Когда человеку нужен дом, он умеет быть очень терпеливым. Ты держись за свои книги и ничего пока не подписывай.

– Я и не собиралась подписывать.

– Вот и умница. – Она встала, поправила шаль и вдруг хитро прищурилась. – А табличку, кстати, оставь. Мне нравится.

У двери она остановилась и обернулась, и по лицу её было видно, что она вот-вот вспомнит что-то важное, но она только покрутила на носу очки и вздохнула:

– Потом, Ядзя. Память у меня стала как решето, а говорить зря я не люблю. Пока не поймаю, не скажу.

Она ушла, оставив после себя запах воска и невысказанную мысль, которая, как мне показалось, застряла у неё в горле. Я хотела окликнуть её, но тут в лавку вошёл покупатель, потом второй, и вернуться к этому разговору я не успела.

***

Дом гильдии аптекарей стоял на Ступенной улице, в трёх кварталах от аптеки, и в полдень я уже поднималась по его широким ступеням, вытирая ладони о фартук, который не дога-

далась снять. Дом был старый, с карнизами из красного кирпича и вывеской над входом, на которой ступка и змея были выписаны так аккуратно, что вызывали скорее скуку, чем уважение. Я знала, зачем иду: мне нужна была правда о Флориане, а правду в Крушвице проще всего узнать у старшины гильдии, которая знает про всех всё и никому об этом не говорит.

Стефания Цешинская принимала в кабинете, где пахло лавандой так густо, что у меня зачесалось в носу. Она сидела за огромным столом в лиловом платье с тугим воротом, волосы стянуты в такой плотный узел, что казалось, будто у неё даже мысли причёсаны, и просматривала какую-то ведомость. Когда я вошла, она не встала.

– Госпожа Ольшанская, – произнесла она, не отрывая глаз от бумаги. – Я ждала вас, но не так скоро. Присядьте.

– Я постою, госпожа Цешинская. У меня короткий вопрос про ростовщика Флориана Жмуду и бабушкин вексель. Вы слышали, что на нашей аптеке висит четыре тысячи восемьсот денаров, будто бы взятых в марте?

Старшина наконец подняла глаза. В них не было ни удивления, ни сочувствия, только расчёт, ровный и безупречный, как её узел на затылке.

– Слышала, – сказала она. – Дом Вранских уведомил гильдию, как положено, ещё вчера утром. Вам, наверное, известно, что здание на Ступенной тоже находится в залоге у банка Вранских? Гильдия должна им значительную сумму, и я не вижу причин ссориться с кредитором из-за одной аптеки, пусть и носящей уважаемое имя.

– Но это подделка! – Я не сдержалась и ударила ладонью по спинке стула. Голос сорвался на визг, и пришлось откашляться. – Бабушка не брала в долг у ростовщиков, ох, госпожа Цешинская, вы же знали её сорок лет!

– Я знала вашу бабушку и уважала её, – сказала Стефания холодно и аккуратно положила ведомость. – Именно поэтому я советую вам снять эту нелепую табличку, пока гильдия не вынесла штраф, и подумать о продаже дома. Дом вы всё равно потеряете, а потеряете ли вы при этом аптеку, зависит от вашего благоразумия. Табличка, госпожа Ольшанская, это не храбрость, это вывеска для будущих неприятностей.

– Благоразумие, госпожа Цешинская, это когда подпись настоящая. А если нет, то это трусость с хорошими манерами. – Я развернулась к двери, и в висках у меня стучало так, что я с трудом различала собственные слова. – Простите за беспокойство. Передайте дракону, что аптека не продаётся.

– Вы ему сами это передайте, – сказала Стефания мне в спину. – Он зайдёт в любом случае.

Я вышла, хлопнув дверью чуть сильнее, чем следовало, и спускалась по ступеням так быстро, что чуть не сбила с ног мальчика с корзиной яблок. Только на углу, под дождём, до меня дошло, что я наговорила старшине гильдии больше, чем можно говорить человеку, у которого в руках твоя лицензия. Но возвращаться не хотелось. Хотелось есть и закричать.

***

Вечер пришёл в Крушвиц рано, потому что дождь так и не прекращался. Я закрывала ставни, когда за дверью раздался такой грохот, будто в лавку вкатили бочку, и колокольчик над дверью зазвенел, как сумасшедший. Дверь распахнулась, и в проёме показался человек, перегородивший собой весь свет: широкий, рыжебородый, в брезентовой куртке с пятнами рассола, в сапогах, с которых текло на пол. Он закашлялся прямо с порога, долго и глухо, согнувшись пополам и прижимая к груди левую руку, на которой не хватало двух пальцев.

– Ведьмочка! – выдохнул он, когда немного отдышался, и вытер усы тыльной стороной ладони. – Ты, говорят, у нас теперь за главную. Мне бы кого-нибудь, кто лечит от соляного кашля, а то лекарь только руками разводит.

– Господин Гурный? – Я вышла из-за прилавка и подставила ему стул, потому что он стоял, покачиваясь, как подпиленное дерево. – Садитесь, пожалуйста. Вот, выпейте воды. Что случилось?

– Мы с твоей бабкой друг друга не стеснялись. – Он тяжело опустился на стул, и тот жалобно скрипнул. – Беда у нас, Ядвига. В Тихой копи с августа народ кашляет, сперва по двое, потом по десять, а теперь половина артели не может подняться без хрипа. Сухой кашель, с зелёной слизью, и никакой лекарь не берёт. У меня сын в копи, шестнадцать лет, тоже кашляет. Сам видишь, и я кашляю.

– Вижу. – Я села напротив и положила ладонь ему на запястье, считая пульс. Он был частый и неровный, но не страшный. – Давно у вас вода так? То есть кашель давно?

– С лета. А вода, – он махнул рукой, – вода как вода. Мы её веками пьём. Слушай, ведьмочка, нам нужно сто пятьдесят бутылей отвара, твоего, бабкиного, какой там у неё был от кашля. Платим девятьсот денаров, это шесть за бутыль, как у вас принято. Вот задаток, четыреста пятьдесят, половина вперёд.

Он поднялся, расстегнул куртку, вытащил из внутреннего кармана кожаный мешочек и высыпал на прилавок кучу монет, которые покатились, звеня, во все стороны. Божена, которая как раз зашла за забытой шалью, ахнула и кинулась ловить их у самого края. Я подхватила одну монету с пола, повертела в пальцах и почувствовала, как внутри всё медленно перевернулось: четыреста пятьдесят денаров. Не четыре тысячи восемьсот, даже не одна десятая. Но это была не милостыня и не скидка, а честная работа, которую я умела делать.

– Ведьмочка, – сказал Мешко тише, и в его низком голосе вдруг прорезалась какая-то детская мольба. – Ты мне только скажи, что они не помрут. А заплатим мы хоть солью, хоть кровью, хоть медью.

– Они не помрут, господин Гурный, – ответила я, и сама удивилась, как твёрдо это вышло. – Я не знаю пока, что за кашель, но я его вылечу. Я пойду с вами в копь и посмотрю людей сама, потому что отвар без осмотра я не варю. Сто пятьдесят бутылей мне нужно не меньше чем за десять дней, и сразу предупреждаю: пока не увижу больных, ничего не пообещаю.

– Вот это разговор! – Он засмеялся, и смех тут же обернулся кашлем, но глаза у него заблестели. – Бабка твоя была такая же, с осмотром и условиями. Приходи завтра, я всё покажу.

Божена, ползавшая под прилавком, высунула голову и торжествующе подняла в кулаке последнюю монету. Мы вдвоём пересчитали задаток на столе, и вышло ровно четыреста пятьдесят, ни денаром больше, ни меньше, и это была самая красивая цифра за два дня. Я записала сумму в кассовую книгу, поставила дату и отметила: «Задаток артели Тихой копи».

– Госпожа Ядвига, – шепнула Божена, глядя на горку монет, – а на вексель-то это не хватит.

– Не хватит, – согласилась я. – Но это уже имя, Божена, и работа. А с именем и работой хотя бы можно начинать спорить.

Я проводила Мешко до двери, и он, уже выходя под дождь, вдруг обернулся, поднял воротник и сказал, будто между делом, как говорят о погоде:

– Завтра в семь у входа в Тихую копь. Я буду ждать. И не опаздывай, ведьмочка, а то нам нечем тебя встречать, кроме ворчания.

Он ушёл, тяжело ступая, и кашель его ещё долго слышался на мостовой. Я заперла дверь, выдохнула и прислонилась лбом к холодному стеклу. Завтра в семь у входа в Тихую копь, сказал Мешко, и я почему-то сразу подумала о воде.

Глава 3. Вода в Тихой копи горчит

В семь утра у входа в Тихую копь было так сыро и серо, что казалось, будто рассвет здесь отменили за ненадобностью. Над чёрным зевом шахты висела мокрая деревянная вывеска, под ней горел фонарь, а вокруг, в неглубоких лужах, топтались горняки в брезентовых куртках, кашляли и негромко переговаривались. Я пришла вовремя, с большой плетёной сумкой через плечо, в которой звякали склянки, и с чувством, что опять сделала глупость.

– Явилась! – Мешко Гурный вынырнул из толпы, в каске с потухшей свечкой на лбу, и широко раскинул руки, словно собирался меня обнять, но вместо этого сунул мне в ладонь тяжёлый железный фонарь. – Держи, ведьмочка. Ведьм в копь пускают раз в сто лет, так что смотри, не растеряй честь.

– Честь я оставила на прилавке, господин Гурный, вместе с кассовой книгой, – сказала я, проверяя фитиль. – Но фонарь довезу в целости. Мне нужны больные, колодец и кто-нибудь, кто объяснит, где в вашем подземелье чёрный ход.

– Чёрного хода у нас нет, только один вход и две лестницы. Ну пошли, коли так. – Он хмыкнул в рыжую бороду, в которой застряли блёстки соли, и тут же закашлялся, согнувшись и упёршись рукой в стену.

Мы спускались долго. Деревянная лестница уходила вниз кругами, ступени были скользкие, и фонарь в моей руке то выхватывал из темноты стены, облепленные белым налётом, то раскачивался, отбрасывая тени, похожие на длинные пальцы. Воздух становился гуще и солонее, на языке оседал вкус моря, которого я никогда не видела, а где-то глубоко внизу стучали кирки, глухо, ровно, как огромное сердце. Мешко шёл впереди и ворчал, что наверху ведьмы смотрят на соль как на приправу, а внизу её надо уважать, потому что она кормит триста человек.

Нижняя казарма оказалась длинным сводчатым залом с рядами деревянных нар, на которых лежали и сидели люди. Они были молодые и старые, с одинаково серыми лицами и красными от кашля глазами, и я не сразу поняла, что именно меня тревожит в этом зале. Потом дошло: здесь не было ни одного шумного разговора. Люди кашляли по очереди, как заведённые, а между приступами молчали, словно берегли дыхание.

– Господа, это Ядвига Ольшанская, ведьма-аптекарь, внучка Гражины, – объявил Мешко, и голос его в сводах прозвучал, как труба. – Будьте добры показаться. Она не кусается.

– Зато наценки накладывает, говорят, – пробормотал кто-то с дальней койки, и пара человек негромко засмеялась. Значит, табличка успела дойти и до копи. Я скрыла улыбку и подошла к первому больному.

Это был парень лет двадцати, худой, с влажными кудрями, и звали его, как мне сказали, просто «Малой». Я попросила его снять рубаху, послушала грудь, приложив ухо между лопаток, и услышала то, чего боялась: сухие, трескучие хрипы, как будто кто-то мял в ладони сухие листья. Я велела ему откашляться в платок. Мокрота была зеленоватой, густой, с каким-то странным, едва заметным блеском, и я поднесла её к лампе, чтобы разглядеть.

– Давно кашляешь? – спросила я.

– С августа, госпожа аптекарь. Сперва утром, потом днём, теперь и ночью. – Он прижал платок ко рту и откашлялся снова, и лицо его пошло красными пятнами. – Горло дерёт и во рту металл, будто монету положили.

– Хм, металл? – переспросила я, чуть громче, чем собиралась. – Ты чувствуешь металл во рту, когда не кашляешь?

– Иногда. После воды больше. Да у всех так, – махнул он рукой, и я отметила это про себя, как отмечают нитку, которую нельзя дёргать, пока не знаешь, куда она ведёт.

Я осмотрела двадцать человек. У шестерых были красные воспалённые глаза, у троих распухшие дёсны, у нескольких ломило суставы по утрам, но у всех неизменно сухой, трескучий кашель и привкус во рту. Я записывала всё в маленькую книжицу, задавала вопросы, ощупывала шеи, считала пульс. Один старик, дядя без передних зубов, рассказал, что жена пила то же самое, что и он, а кашляла вдвое меньше, потому что пьёт кипячёное.

– Кипячёное? – Я отложила перо. – Значит, вода сперва греется. А ты, дедушка, откуда пьёшь, прямо из колодца?

– Из колодца, откуда ж ещё. Он у нас в зале за аркой, чистый, глубокий. Мы его веками пьём.

Вот, подумала я, и это слово опять. «Веками». Люди любят это слово, когда не хотят проверять.

***

Колодец оказался в соседнем зале, за кирпичной аркой, и вокруг него столпилось с десяток мужчин с вёдрами и кружками. Каменный сруб был обложен солью, как инеем, воду из него таскали на деревянных коромыслах, и от ведра шёл ровный, чуть сладковатый запах сырости. Я подошла, отодвинула кого-то локтем, зачерпнула в ладонь воды и поднесла к лицу.

Не пахла она ничем особенным. Но когда я сделала маленький глоток, во рту сразу выступила горечь, плотная и неприятная, с привкусом металла, будто я случайно прикусила медную монету. Горечь держалась на языке долго, и я сплюнула в сторону, а потом достала из сумки чистую склянку и наполнила её до самого горлышка.

– Ну и чего ты там колдуешь? – буркнул кто-то.

– Беру пробу, – сказала я. – Господин Гурный, а вода у вас всегда такая?

– Как всегда! – Он стоял рядом, вытирая ладонью бороду, и в голосе его сквозило раздражение, как у человека, которого обвиняют в чём-то давно привычном. – Ого, ты что, хочешь сказать, что мы сто лет пьём гадость? У нас ни один дядька дальше пятидесяти не жалуется!

– Я ничего не хочу сказать, пока не проверю, – ответила я, затыкая пробкой одну склянку и наполняя вторую, потом третью. – Может, вода тут и ни при чём. Может, пыль. Но я возьму три пробы из разных мест, и один горшок поставлю у вас в казарме, чтобы сравнить. Вы же не возражаете?

– Я возражаю, но не вслух, – проворчал Мешко и повернулся к стене, чтобы я не видела, что он кашляет.

Я подписала склянки. Первая, со дна колодца. Вторая, из вёдер у арки. Третья, из бочки в казарме, которую, по словам рабочих, наполняли вчера. Сунула их в сумку, переложила овечьей шерстью, чтобы не побились, и ещё раз попробовала воду, уже осторожнее, на самый кончик языка. Металл. Явный, нахальный металл. И я зачем-то вспомнила, как в детстве бабушка заставляла меня пробовать воду из каждого колодца на Аптекарской горке, чтобы я научилась отличать хорошую от плохой.

***

После копи мы вдвоём с Мешко зашли в таверну «Белый пласт», которая стояла у самого входа и пахла жареным луком, влажной шерстью и кислым пивом. Мне хотелось только горячего, потому что я промёрзла до костей, а Мешко упорно твердил, что ведьме нужно хоть раз в жизни поесть по-человечески. Нам подали густой гороховый суп с копчёным салом и два ломтя хлеба, и я ела молча, пока не почувствовала, что руки перестали дрожать.

– Ну что, – сказал Мешко, наконец-то понизив голос. – Гм, говори прямо. Что ты там у себя в голове насчитала?

– Пока ничего. Кашель сухой, дыхательный, но у людей воспалены глаза и дёсны, а такого от одной соли не бывает. Мне нужны сутки, чтобы понять. – Я отодвинула миску. – Господин Гурный, когда в копи вода стала хуже? Вы ведь заметили, правда?

– Летом. С мая, пожалуй, – неохотно признал он. – Сначала думали, что колодец застоялся. Потом к августу ребята начали жаловаться. Но мы тут ничего не трогали, веришь? Смотритель водоводов говорит, осенняя жила пошла, соль подтачивает, вот и горчит. Бывает так.

– Какой смотритель?

– Да вон он, у стойки. Лех Пятек. Худой, который в мокрых сапогах.

Я обернулась. У стойки действительно стоял человек, невысокий и очень худой, с впалыми щеками и таким видом, будто он всё время ждал удара. Сапоги у него были мокрые до колен, а когда он протянул руку за кружкой, я заметила, что пальцы его покрыты зелёными пятнами, как будто он весь день возился с ржавой медью. Он быстро глотнул пива, не поднимая глаз, и едва не расплескал его, а потом так же быстро полез в карман за мелочью.

– Господин Пятек! – позвал Мешко. – Вот, познакомься. Это внучка Гражины Ольшанской. Ведьма, аптекарь. Лечит наших.

Лех обернулся, и глаза его на секунду метнулись к моему лицу, потом к сумке со склянками, потом снова к кружке. Он что-то пробормотал, наверное «здравствуйте, госпожа», и пошёл к выходу, прижимая локти к бокам, как человек, которого толкают в толпе. Дверь хлопнула, колокольчик не звякнул, потому что в таверне колокольчика не было, но мне почему-то показалось, что звякнул.

– Нелюдимый он, – сказал Мешко, сгребая со стола хлебные крошки. – Вдовец, дочка у него маленькая. Всё в трубах, всё в трубах. Тихий человек, не обижай.

– Я и не думала его обижать, – сказала я, но запомнила и пятна на руках, и мокрые сапоги, как запоминают чужой почерк на конверте.

***

К вечеру я вернулась в аптеку и, не снимая плаща, поставила склянки в ряд на полку в лаборатории. Божена как раз кипятила воду в большом котле, и вся комната была в тёплом паре, пахнувшем ивовой корой и солёным молоком. Я ещё по дороге решила не ждать результата проб: людям нужен отвар сегодня, значит, начнём варить сегодня, а о воде подумаем потом.

– Ой, госпожа Ядвига, я нарезала ивовую кору, как вы велели, и молоко подогрела, но оно уже пенится, смотрите! – Божена стояла у плиты, вытирая красные руки о передник. – А сколько соли? Сколько заговора?

– Соли ровно столько, чтобы язык чувствовал, но не плакал. Заговор я возьму на себя. Отойди на шаг, пожалуйста.

Я подошла к котлу, высыпала в кипящее молоко мерку соли из жёлтой бабушкиной банки, добавила кору, проверила цвет и запах, а потом положила ладони на медный край и зашептала. Заговор на соляной кашель бабушка когда-то записала для меня на обороте квитанции: слова простые, тёплые, с длинными гласными, которые нужно тянуть, пока ладони не нагреются сами. Горло сразу стало сухим, потом в нём что-то царапнуло, потом голос пошёл вниз и закончился на низкой хриплой ноте, будто его отрезали ножницами.

– Ох, – выдохнула я шёпотом и отступила от котла. Пальцы дрожали. – Первая партия готова. Сорок бутылей, больше не потяну за вечер.

– Госпожа Ядвига, а что, правда у вас в голове всё это слово в слово? – Божена смотрела на меня с обожанием и испугом одновременно. – Вы даже не запнулись.

– Запнулась бы, если бы не знала, что за запинку платить голосом. Давай разливай, пока горячее. И пробки прокипяти.

К девяти мы разлили сорок бутылей, расставили их в ящики на полу и накрыли холстом. Божена убежала домой в Нижний город, обещав прибежать пораньше, а я заперла ставни, потушила большую лампу и осталась в лавке одна, с тёплым чаем, с хриплым горлом и с чувством приятной пустоты, какое бывает после долгой работы. Я записывала в книгу расход соли, когда колокольчик звякнул снова.

***

Он вошёл так тихо, как будто боялся, что звон услышат соседи. Высокий, в тёмном плаще, с водой на плечах и с серебряной прядью у левого виска, которая в свете одной лампы казалась ещё ярче. Збигнев Вранский остановился у прилавка, поправил часы на цепочке и вежливо, с лёгким поклоном, произнёс:

– Добрый вечер, госпожа Ольшанская. Простите за поздний визит. Я пришёл купить мазь.

– Мазь? – переспросила я шёпотом, потому что громче не получалось. – Какую?

– Для одного знакомого. От трещин кожи, мелких, на руках. – Он говорил ровно, но глаза его на миг ушли в сторону, к табличке на двери. – Вам, вероятно, известна подходящая. Он просил взять самую действенную.

– Известна, – сказала я и полезла на полку за баночкой с зелёной крышкой. Двенадцать денаров по обычной цене, сказала я себе, плюс пятая часть, это четырнадцать и четыре, но округляю в свою пользу. – Пятнадцать денаров, господин Вранский. С наценкой. По табличке.

– Разумеется, по табличке, – согласился он и вытащил из кармана кошелёк. Я ожидала, что он начнёт торговаться, но он выложил на прилавок ровно пятнадцать монет, одну за другой, как аккуратный счётчик. – Позвольте квитанцию.

– Квитанцию, – повторила я и достала бланк. – Вы серьёзно?

– Совершенно. Я собираю квитанции, госпожа Ольшанская, это моя привычка. Любой расход дома должен быть задокументирован, даже пятнадцать денаров. – Он помолчал и добавил с лёгкой, едва заметной иронией: – Наценку за наглость я заплачу, но с вашей стороны было бы честно указать в квитанции, чья именно наглость имеется в виду.

Я хмыкнула, макнула перо в чернильницу и написала крупными буквами, сквозь хрипоту проговаривая вслух:

– Пишу: за драконью. Подпись, печать, хорошего вечера.

– Благодарю. – Он взял квитанцию, внимательно прочитал, и мне показалось, что уголки его рта на мгновение дрогнули. – Вы пишете чётко, госпожа Ольшанская. Это редкость в нашем городе.

– А вы платите ровно. Это ещё большая редкость. – Я подвинула к нему баночку, завёрнутую в бумагу. – Мазь надо наносить дважды в день, утром и перед сном, на сухую кожу. Если трещины глубокие, пусть ваш знакомый придёт ко мне, я посмотрю.

– Я передам. Он, боюсь, не очень склонен показываться врачам. – Он взял баночку и положил её во внутренний карман плаща, потом потянулся за квитанцией, которую я придвинула к самому краю прилавка. Рука его скользнула вперёд, рукав плаща съехал, и манжета рубашки приподнялась на пару пальцев.

Я хотела отвести глаза, но не успела. На левом запястье, там, где у драконов всегда находится пятно чешуи, блестящее, как серебряная монета, лежало нечто совсем другое. Чешуя была серой и тусклой, как мокрый булыжник, и вокруг неё кожа казалась тугой и белой, а края пятна, похоже, расползались вверх, под рукав. Это была не краска и не грязь. Я видела такое когда-то на кладбищенской плите, где мох уже стёрся, и камень стал просто камнем.

Он выдернул руку так быстро, что цепочка часов звякнула, и стремительно одёрнул манжету. Щёлкнула крышка, и мне почудилось, что этот звук был не часов, а чего-то внутри него самого.

– Благодарю за мазь, госпожа Ольшанская, – сказал он, и голос его стал на полтона суше, чем обычно. – Доброй ночи.

– Господин Вранский, постойте… – начала я, но колокольчик уже звякнул, дверь закрылась, и по мостовой простучали торопливые шаги, совсем не те, что приходили сюда в первый вечер.

Я стояла за прилавком с пером в руке и смотрела на закрытую дверь, и только через минуту поняла, что на счётной книге у меня расплылась большая клякса. Чешуя на его запястье

была не серебряной, а серой, как камень у порога, и он поспешно одёрнул манжету, будто я застала его без штанов.

Глава 4. Медь по весу

Утром в пятницу я первой вошла в лабораторию, ещё до того, как Божена успела повесить на крюк свой платок, и встала перед полкой с пробами. Три склянки стояли в ряд, как три маленьких свидетеля, и в каждую я с вечера, когда Збигнев ушёл, а уснуть всё равно не получалось, опустила по железному гвоздю из бабушкиной коробки. Не потому, что я что-то подозревала, а потому, что так делают, когда вода во рту имеет вкус монеты: бабушка называла это «спросить у железа».

Я поднесла первую склянку к окну, и дыхание у меня сбилось. Гвоздь, который ещё вчера был чёрным и гладким, покрылся рыжим налётом, мягким, как бархат, и местами облез клочьями, оставив на стекле красноватую муть. Во второй склянке налёт был чуть слабее. В третьей, с водой из бочки в казарме, плотнее всего. Я поставила их обратно, достала из ящика чистый гвоздь для сравнения, опустила его в дождевую воду из бочки во дворе и подождала минуту. Ничего. Гвоздь лежал на дне серый и честный.

– Госпожа Ядвига? – Божена вошла на цыпочках и остановилась у двери, не решаясь пошевелиться. – Что у вас такое лицо? Вы как будто привидение увидели.

– Подойди и посмотри, – сказала я, и голос мой, к счастью, уже вернулся хотя бы на половину. – Видишь рыжее на гвозде? Это называется «медь осела». Вернее, так мне кажется. Если бы не слабый запах, я бы сказала, что в воде купорос, но чтобы это был купорос, надо сделать ещё пару опытов.

– Купорос? – Она поморщилась. – Это тот, что в красильнях? От которого руки зелёные?

– Он самый. Только он не должен быть в питьевой воде ни при каком раскладе. Он даёт сухой кашель, слезящиеся глаза, воспаление дёсен, металлический привкус, и всё это один в один у наших горняков. – Я вытащила гвоздь пинцетом и положила на блюдечко. – Значит, они кашляют не от соли и не от осенней жилы. Они пьют медь, Божена. Каждый день, по ведру.

– Ох, – сказала Божена очень тихо, и глаза у неё сразу наполнились слезами, а подбородок задрожал. – Ох, и что ж им теперь делать? Это ж они дети свои этой водой кормят, а-а, как же так!

– Не реви, а лучше подай мне перо. – Я уже листала рецептуру, лежавшую у самого котла. – Отвар, который мы вчера сварили, лечит кашель, но воду не лечит. Если люди будут продолжать пить из того колодца, то лечить их можно хоть вечность, и никакой пользы. Придётся сделать отвар крепче и добавить то, что вытягивает металл. Яичную скорлупу, например. И отрубей. И полынь, но с осторожностью.

Я схватила перо и принялась править рецепт прямо на полях бабушкиной книги, которая лежала раскрытой на пюпитре. Божена, шмыгнув носом, сделала то, что делала всегда в таких случаях: взяла веник и начала подметать, тихо бормоча себе под нос. Через минуту она осторожно спросила, не поднимая глаз от пола:

– Госпожа Ядвига, а правда, что у драконов чешуя каменеет от злости? Мне тётя вчера рассказала, будто от сильного гнева у них руки становятся как камень, и потом никто не может их разогнуть.

Перо в моих пальцах остановилось. Я вспомнила серую чешую, мокрую и мёртвую, как булыжник на ступеньках, и то, как быстро он спрятал руку, словно её могли отобрать.

– Не от злости, – сказала я. – Или не только. Откуда ты слышала?

– Тётя говорит, что у соседки её двоюродного дяди был знакомый дракон… ну, в общем, не помню. Но он будто бы разозлился на банковского писаря, и у него всё запястье окаменело, и пришлось звать лекаря. Лекарь сказал, что это такая драконья болезнь, и от неё нет лекарства.

– Нет лекарства, – повторила я задумчиво. – Знаешь что, Божена, не рассказывай больше этого никому. Ни тёте, ни соседкам. Люди и без того в этом городе болтают слишком много.

– Могила, – шепнула она и торжественно приложила веник к груди.

***

Но больше всего в тот день люди болтали про меня. Мы открыли лавку в восемь, и до десяти не пришёл ни один покупатель. К одиннадцати заглянула женщина, купила горсть мяты, быстро расплатилась и, уходя, обернулась на табличку так, словно та могла её укусить. В обед пришёл старик, который три дня назад заплатил двойную цену, но теперь он только потоптался у прилавка, пробормотал что-то вроде «жена велела не связываться» и ушёл, не взяв ничего. Колокольчик звякал, как в пустом доме, редко и уныло.

– Слух идёт, – сказала Божена, вытирая пыль с банок, которые чистыми были ещё с утра. – У пекаря на углу говорят, что дом Вранских не простит. Что вас закроют и штраф наложат. А ещё сказали, будто вы колдуете не по закону.

– Колдую по закону, у меня патент с восемьсот шестого года. – Я захлопнула кассовую книгу. – А закрыть аптеку без решения королевского суда никто не вправе. Бабушкин патент ещё с шестидесятого года.

– А они сказали, что в Крушвице теперь не суд, а банк решает.

– Ну-ну, – сказала я. – Пусть решают. Нам бы только до конца недели дотянуть.

К вечеру пятницы, когда я подводила итог, в кассе лежало девять денаров, а суббота с самого утра обещала быть не веселее, так что к её концу я насчитала всего восемнадцать денаров за два дня. Для лавки, которая обычно приносила десять в день, это было похоже на похороны. Я пересчитала монеты дважды, как будто они от этого могли размножиться, и аккуратно убрала их в железную коробку, ощущая, как внутри медленно оседает что-то тяжёлое и холодное. Но потом вспомнила про четыреста пятьдесят задатка и про сто десять бутылей, которые ещё надо было сварить, и коробка перестала казаться такой пустой.

***

Господин Квятек появился в субботу, в половине десятого, и по тому, как он закрыл дверь, придерживая колокольчик ладонью, я поняла, что пришёл он не за ромашкой. Шляпу он нёс в руке, в другой у него был портфель, а под мышкой торчал свёрнутый лист с гербовой печатью. Лысина его блестела от дождя, очки запотели, и перед тем как заговорить, он протёр их платком с вышитой буквой.

– Госпожа Ольшанская, – сказал он и помолчал. – Гильдия аптекарей постановила наложить на вас штраф за размещение вывески, оскорбляющей почтенный дом. Размер штрафа пятьдесят денаров, срок уплаты неделя. Мне поручено передать вам уведомление и принять платёж, поскольку гильдия и дом Вранских, как вы знаете, находятся в некоторых отношениях.

– В отношениях, – повторила я, принимая лист. Перечитала раз, второй, и уголки губ у меня сами пошли вверх. – Господин Квятек, если вы хотите, чтобы я заплатила сейчас, то пожалуйста. Только имейте в виду, что платить я собираюсь медью.

– Медью, – тихо повторил он. – Позвольте уточнить, госпожа Ольшанская, это шутка?

– Это касса, – сказала я и достала из ящика тяжёлый мешочек с мелкой монетой, которую приносили покупатели за последние недели. Медяки были потёртые, липкие, разной эпохи и чеканки. – Пятьдесят денаров, господин Квятек, медью. Медь, как выяснилось, в этом городе сейчас везде, даже в воде.

Он открыл рот, закрыл, потом осторожно поставил свой портфель на прилавок и достал весы. Они оказались маленькие, дорожные, в футляре из потёртой кожи. Он установил их на пустом месте, расправил полы сюртука и снял с мешочка узел.

– Медь по весу, как при моём деде, – пробормотал он и покачал головой. – Гхм… Я обязан пересчитать, госпожа Ольшанская, но я не обязан делать это с удовольствием.

– Конечно, не обязаны. Считайте, не торопитесь.

Мы оба стояли над прилавком, как два заговорщика, и он выкладывал монеты по пять на каждую чашку, взвешивал, записывал, снова взвешивал, а я подавала ему следующую горсть.

Он бормотал цифры, как молитву, а я наблюдала за его аккуратными руками, за пером, которое он то и дело перекладывал за ухо, и вдруг поняла, что мне становится смешно. Сначала тихонько, потом сильнее. Я прикрыла рот ладонью, но не удержалась и фыркнула. Господин Квятек вскинул на меня глаза, замер, очки у него сползли на кончик носа, а потом у него самого дрогнули уголки губ.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.